

1917 ГОД: ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА И РУССКИЙ БУНТ

Владимир Прохорович Булдаков

Доктор исторических наук,
главный научный сотрудник
Института российской истории РАН
E-mail: kuroneko@list.ru

1917: EUROPEAN POLITICS AND RUSSIAN MUTINY

Vladimir Prokhorovich Buldakov

Dr. Sc. (Hist. Sci.),
Chief Researcher of the Institute of Russian History
of the Russian Academy of Sciences (IRH RAS)
E-mail: kuroneko@list.ru

Автор исходит из предположения, что описание революции 1917 г. в России в европейских политических понятиях существенно искажает смысл произошедшего грандиозного кризиса. На протяжении двух веков революции описывались в терминах, навязанных ментальностью эпохи Просвещения. Русская революция была явлением более сложного порядка. Политический расчет занимал в ней относительно незначительное место, оставаясь уделом просвещенных элит. Революционными событиями управляла стихия массовых движений, пронизанных агрессивными утопиями. До революции было принято считать, что человек равен другому человеку, люди готовы для подлинной свободы, для достижения которой достаточно уничтожить социальное неравенство. Революция показала, что история скорее циклична, нежели поступательна, народы культурно разобщены, а человек изначально несовершенен.

The author proceeds from the assumption that the description of the 1917 revolution in Russia in European political concepts essentially distorts the meaning of the huge crisis that occurred. For two centuries, the revolutions were described in terms imposed by the Enlightenment mentality. The Russian revolution was a more complex phenomenon. The political reasons occupied a relatively small place in it, remaining the lot of educated elites. Revolutionary events were ruled by the spontaneously mass movements caught by the aggressive utopias. Before the revolution, it was accepted that man is equal to another man, people are ready for true freedom, for the achievement it is enough to destroy social inequality. The revolution showed that history is more cyclical than straight directed, peoples are culturally disunited, and man is initially non-perfect.

Ключевые слова: Россия, революция, политика, бунт, анархия, стихийность, либерализм, большевизм.

Keywords: Russia, revolution, politics, mutiny, anarchy, spontaneity, liberalism, Bolshevism.

В 1922 г. известный русский писатель Марк Алданов, химик по образованию и знаток Великой французской революции, выпустил книгу, составленную из статей о потрясениях, вытолкнувших его в эмиграцию. Впрочем, книга начиналась с событий 23 августа 1572 г. — Варфоломеевской ночи. Через 350 лет писатель констатировал, что средневековые страсти пережили эпоху Просвещения. Шаг за шагом сравнивая события французской и русской революций, он пришел к выводу, что в России случился скорее грандиозный бунт, нежели ожидаемая политическая революция.

К аналогичным заключениям постоянно приходили — скорее интуитивно — совершенно разные люди. Даже историк-позитивист П. Г. Виноградов отметил: «Если мы возьмем историю России, то обнаружим аналогию нынешнему состоянию в “Смутном времени” — периоде анархии, последовавшем за пресечением рода Ивана Грозного...» (Виноградов, 2010: 479). Он отказывался видеть в русской революции продолжение европейских революций XVIII–XIX вв. Представления о том, что, пытаясь догнать Европу, Россия в политическом отношении откатилась далеко назад, после революции были широко распространены в европеизированной интеллигентской среде. Однако возобладали иная точка зрения.

Вглядываться в бездну революции страшновато, и потому человеческий ум постоянно сбивается на поверхностные аналогии. Из последних непременно сложится нечто такое, что можно объявить закономерностью. Отсюда и конвенциональные представления о прошлом, связанные с имманентными особенностями исторического сознания. Тем не менее каждая новая эпоха открывает новые горизонты.

Сегодня ход русской революции все еще описывают через представления политиков, забывая, что они *все* — от Павла Милюкова до Владимира Ленина — обанкротились в своих устремлениях. Причина несостоятельности — в заблуждениях целой эпохи: теория прогресса казалась неопровержимой, как идея гравитации. Люди жили «притяжением будущего», ассоциировавшегося не столько с объективными реалиями, сколько с субъективными ожиданиями.

В 1903 г. в Лондоне встретились два российских радикальных западника — лидер либералов П. Н. Милюков и вождь большевиков В. И. Ленин. Речь шла о путях избавления от «застойного» самодержавия. Будущий министр иностранных дел Временного правительства отмечал, что беседа превратилась в спор о *темпах и перспективах* неизбежных преобразований (Милюков, 1991: 178). При этом «рассудительный» Милюков считал Ленина с его верой в социалистическую миссию российского пролетариата торопливым утопистом. Утопистами оказались оба, ибо исходили из убеждения, что Россия непременно последует путем революций Запада.

Впрочем, в связи с началом Первой мировой войны Ленин обратился к факторам иного порядка. Войну, воспринятую всеми как «самоубийство Европы», он связывал с крахом всей капиталистической системы, дошедшей до высшей и последней стадии — империализма. Возможность мировой революции обосновывалась с помощью книги Дж. Гобсона «Империализм» (1902 г.). Предполагалось, что Россия, якобы прорвавшаяся вперед в области концентрации финансового капитала, однако все еще опутанная пережитками докапиталистической эпохи, может сыграть роль застрельщика мировой революции. Сегодня такой дискурс кажется странным. Да и Гобсон настаивал, что открытое им явление «определенно относится к области социальной патологии» (Гобсон, 2009: 17). Трудно вообразить, что из общественной патологии может единым махом родиться «светлое будущее». Но тогда это казалось «диалектикой» — подобием «естественного чуда».

После падения самодержавия представлялось, что все идет по ускоренному варианту ленинского сценария. Стоит вспомнить о словах Ленина: «Не будь войны, Россия могла прожить годы и даже десятилетия без революции против капиталистов» (Ленин, 1969: XXXII, 31). Со своей стороны, Милюков возводил мировую войну в фактор № 1 Февральской революции (Милюков, 1921: 21), которая якобы открывала возможность политической демократии. Оба деятеля, находясь *внутри* российской действительности, мыслили, однако, «чужими» категориями. Их иллюзии смел русский Бунт — «беспощадный», как всякое наказание за легковерие, но отнюдь не бессмысленный.

Некоторые мыслители еще ранее догадывались, что под европеизированной поверхностью российской общественной жизни бродит «темное вино» — «темное иррациональное начало, и оно опрокидывает все теории политического рационализма» (Бердяев, 1990: 54). По мнению Н. А. Бердяева, его действие превращало российскую историю «в фантастику, в неправдоподобный роман» (Там же). Сущность «варварской тьмы», «хаотической стихии Востока» философ связывал с неспособностью россиянина организовать громадные пространства, а потому переадресовывающего эту миссию центральной власти (Там же: 61). Эти выводы интерпретируются как возможность стихийного «восточного» бунта против дурной «европейской» организации.

Российскую ситуацию трудно было описать извне, а потому образованные иностранцы прибегали к помощи Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Но это лишь усугубляло их недоумение при столкновениях с действительностью. Накануне революции западные журналисты признавали: «Тебя словно околдовывают. Ты понимаешь, что находишься в другом мире... У тебя возникнет соблазн сравнивать Россию с другими странами — не делай этого» (Раппапорт, 2017: 57). Между тем за привычной дихотомией «Запад — Восток» таится прозаическая подоплека.

Сегодня забывают, что с начала XX в. в России разворачивалась крестьянская революция, апогей которой наступил в 1905 г. Симптомами бунта можно считать и участвовавшие поношения монарха в среде простонародья. В 1903 г. состоялся антиеврейский погром в Кишиневе — еще одно свидетельство перегруженности социальной среды иррациональной агрессивностью. В крестьянстве развернулся, по сути дела, антимодернизационный процесс. В основе лежал общинный протест против управленческой неспособности авторитарно-патерналистской системы, обернувшейся тяготами непонятной войны. До поры до времени Российскую империю спасала вера в высшее предназначение верховной власти. Теперь на ее месте возникли представления о ее подмене.

Европа была неспокойна по-своему. С начала XX в. ее относительно сытые народы жили ощущением неустойчивости ситуации. Это, помимо всего, провоцировало соблазн рывка в будущее — в том числе и через войну, опрокидывающую «последнее препятствие» на пути к всеобщему прогрессу. Сегодня эти причины стали более различимыми: демографический бум привел к «омоложению» населения; прогресс убеждал во «всесилии» человека; соответственно возрастала агрессивная безрассудность социальной среды, не говоря уже об авантюризме правителей. Сыграла роль и социализация науки: ученые впервые попытались применить позитивистские практики к общественно-политической жизни.

Развитие мировых событий стало опережать агрегированные возможности интеллектуальной рефлексии. Христианская мораль, *sui generis* нацеленная на самоограничение, вошла в противоречие с возросшими возможностями удовлетворения потребностей. Случилось так, что идеология прогресса сомкнулась с социал-дарвинистскими интенциями. Мир погружался в интеллектуальный и моральный хаос, но люди не хотели этого замечать.

Произошел своего рода эмоциональный перегрев европейской культурной среды, старающейся мыслить рационально, но становящейся все более неуправляемой. «Одной из наиболее опасных черт современной мысли является неврастеническая импульсивность, которая делает ее жертвой меняющихся настроений и предположений», — писал историк (Виноградов, 2010: 438). В общем, Европа была действительно «беременна», но не революцией, в чем настойчиво убеждал себя и других Ленин, а грандиозным цивилизационным надломом.

Проблему разразившейся войны сразу же попытались поднять на историко-онтологический уровень. Европейскую катастрофу стремились выдать за апогей борьбы славянства и германизма, православия и протестантства. Но было очевидно и другое: дух агрессии, вырвавшийся из сдавленного социального тела европейца, захлестнул слабые побеги пацифизма. Об этом предупреждали, но не всем хотелось соглашаться. Так, представления Макса Шелера о

ресентименте (аккумуляции неуправляемой агрессивности) исходили из того, что человек — это «заболевшее своим духом животное» (Шелер, 1994: 93). Ресентимент усугублялся страхами, приумножаемыми информационной революцией. Некоторые европейские мыслители, подобно С. Цвейгу, догадывались, что европейская война вызвана ощущением «переизбытка силы — трагического порождения внутреннего динамизма, накопленного за сорок мирных лет и искавшего разрядки в насилии» (Цвейг, 2004: 160).

Писатели, умеющие кожей чувствовать свою эпоху, оказались мудрее социологов, пропускавших незнакомую действительность через заданные концепты. Так или иначе, растерянный европеец готов был ринуться то ли в войну, то ли в революцию. Впрочем, социалисты фактически сняли идею революции с повестки дня. Характерно, что и Шелер сорвался в войну, выступив в начале 1915 г. с 400-страничной книгой «Гений войны и немецкий гений», в которой признал, что корни войны — в самой жизни. Возражать на это было сложно. Так, Р. Роллан, противник истерии шовинизма, готов был уверовать в «возобновление революционной войны против феодализма» (Роллан, 1917: 4). Однако, как показал опыт, никакой статистически оцениваемый прогресс не гарантирует от извержения хтонических сил, накопленных в сдавленном цивилизацией подсознании народов в Европе и в России.

Падение самодержавия произошло неожиданно — это было воспринято как ожидаемое чудо. Милюков назвал случившееся в феврале 1917 г. «самоликвидацией старой власти». Почему-то историки не замечают этого высказывания. Действительно, «свергать» одряхлевшее самодержавие было просто некому: оппозиционеры к этому были неспособны, революционеры были обескровлены. Дезорганизованная власть оказалась беспомощной перед лицом истеричного столичного бунта. Тогдашние теории такого не предусматривали. «Это еще бунт? Или уже революция?» (Раппапорт, 2017: 102) — недоуменно вопрошал корреспондент парижской газеты. А. А. Блок усомнился: «Революция предполагает волю; было ли действие воли? Было со стороны небольшой кучки лиц. Не знаю, была ли революция?» (Блок, 2012: 115–116). Позднее некоторые современники стали догадываться: «Революции не было, самодержавие никто не свергал. А было вот что: огромный организм, сверхчеловек, именуемый Россией, заболел каким-то сверхсифилисом. Отгнила голова — говорят: “Мы свергли самодержавие!” Вранье: отгнила голова и отвалилась» (Руга, Кокорев, 2011: 503). Конечно, такая трактовка событий меньше всего устраивала и невольных революционеров, и признанных теоретиков. А потому, в то время как западные наблюдатели ужасались от увиденного — отрубленные головы офицеров полиции, трупы женщин и детей, женщины, рвущие тела полицейских, — «победители самодержавия» упорно именовали революцию «мирной».

Наивность «победителей самодержавия» не должна удивлять. История революции с самого начала содержала в себе вирус просвещенного самообмана, и публицисты пытались описать случившееся в понятных им терминах.

Между тем произошедшее мало напоминало революцию. После падения самодержавия 33-летний орловский губернатор граф П. В. Гендриков без тени сомнения предложил революционному начальству образовать для управления губернией особое совещание, которое он готов был возглавить (Булдаков, Леонтьева, 2015: 427). Местные либералы и социалисты согласились. Из Ставрополя губернатор князь С. Д. Оболенский докладывал, что уже сам возглавил Комитет общественной безопасности (Там же: 467). Некоторым революция показалась легким верхушечным переворотом. А тем временем в Твери «революционеры» жестоко расправились с губернатором Н. Г. фон Бюнтингом и несколькими офицерами. Самыми беспощадными оказались самосуды матросов над флотскими офицерами в Кронштадте и Гельсингфорсе, причем там убивали «патриотично», предпочитая лиц с немецкими фамилиями. Всего в феврале–марте 1917 г. было убито более 300 человек (говорили и о нескольких тысячах), однако этого словно не замечали.

Вспышка насилия сменилась эйфорией победителей. О войне, казалось, все забыли: была отменена не только прежняя воинская дисциплина, но и смертная казнь. Солдат запасных столичных батальонов решено было не отправлять на фронт как потенциальных защитников «завоеваний революции». Именно они со временем стали наиболее активными сторонниками Ленина.

Человечество не может без иллюзий. Это не самообман слабых умов, а то, что помогает ему выжить в непонятном и пугающем мире. Что и сказывается в годы великих потрясений.

В сущности, события, названные Февральской революцией, представляли собой победу озлобленных толп над всей старой культурой. Стихийный бунт стал именоваться и описываться так, как предлагала традиция эпохи Просвещения. Такой самообман пригодился и для сакрализации новой власти. Самоутверждение «победителей самодержавия» вполне удалось, и тому имелись глубинные причины.

Насаждению психоэмоциональной архаики способствовал целый ряд культурно-исторических факторов. В отличие от Европы, Россия не знала разделения власти на светскую и духовную — это само по себе препятствовало формированию области *политического*. Отсутствие в российской средневековой культуре университетов с их неременной латынью также препятствовало формированию сферы *логического*, сдерживающего эмоциональные выплески. Под покровом официальной благостности российское культурное пространство было перегружено «дополитическими» эмоциями. Российская история

не знала планомерного дисциплинирующего насилия (как, например, Запад — инквизицию); процесс форматирования социальной среды затянулся. Обделена была Россия и средневековой схоластикой — отсюда следование непререкаемым принципам и авторитетам. Можно вспомнить и о том, что, в отличие от европейца, россиянин, отчужденный от традиций римского права, не умел мыслить категориями формального закона, предпочитая эмоциональные максимы справедливости и правды. Попросту говоря, *Ното rossicus* не был социально отформатирован для демократии — той воображаемой демократии, к которой стремились политики типа Милюкова.

Российский патернализм в его крепостническом воплощении усиливал инфантилизацию сознания. Подданный абсолютной власти не понимал условного — в онтологическом смысле — характера демократии. Отсюда и подмена политического расчета эмоциональными, в том числе и спонтанными, реакциями. В массовом сознании грани между логическим и эмоциональным, между метафорой и понятием, между образом и термином все больше стирались, а ученые слова превращались в некие манящие символы (Mazon, 1920: 51–53). В этих обстоятельствах требование военной победы не случайно споткнулось о туманный социалистический лозунг: «Мир без аннексий и контрибуций». Не следует недооценивать материальных последствий «разрухи в головах».

История постоянно наказывает за непонимание ее языка. Стихийные процессы, подогреваемые эмоциями, по-своему распоряжаются судьбами политиков. После падения самодержавия своего рода духовным лидером революции стал не формальный глава правительства князь Г. Е. Львов, не искушенный тактик П. Н. Милюков, а пылкий социалист А. Ф. Керенский. Харизма последнего определялась потребностью в герое революции. Последующий ход событий столь же неслучайно вытолкнул на авансцену истории новых лиц. В этом большевику Ленину не случайно подыграл либерал Милюков.

Поначалу ленинские идеи о переходе к следующему этапу революции — от демократического к социалистическому — встретили непонимание даже ближайших соратников признанного вождя: согласно учению К. Маркса, эти этапы должен разделять солидный отрезок времени. А лозунг «Никакого доверия Временному правительству!» звучал абстрактно — больше верить было некому. Ленину помогли события, которых никто не ожидал. 18 апреля Милюков заверил засомневавшихся послов союзных держав, что Временное правительство продолжит войну до победы. В ответ 21 апреля на улицы столицы вышли до 100 000 рабочих и солдат с требованием немедленного мира. Их встретили разъяренные патриоты. Раздались провокационные выстрелы, появились убитые и раненые. Кто первым открыл огонь, выяснить не удалось; не смогли даже точно подсчитать количество жертв.

Но трагизм положения не в этом. Политики оказались неспособны распознать подлинный смысл апрельских событий. Милюков утверждал: «Революция сошла с рельс» (Оболенский, 2017: 179). На деле «рельсы» могли существовать только в воображении его слишком прилежных учеников.

Именно апрельские события убедили большевистское руководство, что Ленин способен предвидеть события: массы не хотят войны, следовательно, надо убедить их избавиться от «министров-капиталистов», бессмысленно проливающих народную кровь. Политическая судьба Милюкова была предрешена. В сущности, прервалась и недолгая история русского либерализма, пытавшегося действовать соответственно опыту европейской культурно-политической среды.

Революция не терпит доктринеров. Вслед за тем Керенский также погубил свою карьеру, «заболтав революцию» соответственно своим грезам. Возможно, Ленин стал бы выжидать мирной реализации своих проектов, но его подгоняли события: июльский бунт солдат петроградского гарнизона, не желавших отправляться на фронт; мятеж верховного главнокомандующего Л. Г. Корнилова, бездумно спровоцированного Керенским. Сказались и растущие продовольственные трудности. История влекла своих героев только ей ведомым путем.

Растерянность власти в критических обстоятельствах — непереносимое условие торжества народных утопий. Они соединялись с ростом социальной агрессии. Теперь в поведении толп преобладала форма даже не бунта (обычно направляемого против власти), а *погрома* (распространяющегося на ближайшее окружение). При этом крестьяне громили не столько помещичьи усадьбы, сколько своих ближайших соседей, вздумавших, вопреки обычаю, вести индивидуальное, а не общинное хозяйство. «Врагами» становились все. Еврейские погромы составили лишь около четвертой части многомерных этнических конфликтов (Булдаков 2010а: 1018–1019). Осенью 1917 г. особую остроту приобрели продовольственные погромы, направленные не только против спекулянтов, но и против официальных продовольственных комитетов. Но самое заметное грехопадение революции оказалось связано с пьяными погромами — в них погибло людей больше, чем в ходе разгромов помещичьих имений.

Политики не понимали, что проснулись, по Ницше, ужасы погребенных эпох. Считалось, что виной всему провокационная агитация «темных сил». Как бы то ни было, введенный в начале войны сухой закон в немалой степени способствовал пьяному торжеству большевизма. И это была победа не революционных экстремистов, а озлобленного охлоса.

Поразительно, до какой степени неадекватно представители российских культурных элит описывали события 1917 г. Поначалу это было связано с восторгами, часто фальшивыми, «бескровной» революцией. 5 марта философ

Е. Н. Трубецкой в статье «Народно-русская революция» уверял: «Это — революция единственная или почти единственная в своем роде. Бывали революции буржуазные, бывали и пролетарские. Но революции национальной (здесь и далее выделено автором. — В.Б.) в таком широком значении слова, как нынешняя, русская, доселе не было на свете. Все участвовали в этой революции... и пролетариат, и войска, и буржуазия, даже дворянство... Это революция народно-русская, всенародная... Кучка негодяев, управлявшая вопреки России и против России, собрала против себя всю Россию, и старая власть упала, как созревший плод...» (Трубецкой, 1917). Здесь же он выразил надежду, что желанное классовое единение сохранится до Учредительного собрания. На следующий день в частном письме он сообщал нечто иное: «В день первого выхода газет можно было писать только хорошее. О тревогах и опасениях пока молчу, но скажу <...> по совести, что они — глубоко мучительны. Есть хорошее, но есть и ад. Который ад лучше: республика чертей или самодержавие сатаны — решить трудно... Дай Бог, чтобы у нас утвердилось что-нибудь сносное, чтобы мы не захлебнулись в междоусобии...» (Взыскующие града, 1997: 672).

Писатель Л. Н. Андреев с самого начала революции испытывал тревогу, хотя публично также старался придерживаться общепринятого оптимизма. Только в дневнике он давал волю чувствам. «Торжественный, кровавый, жертвенный и небывалый в истории порыв увенчался двумя ничтожными головами: Родзянки и Чхеидзе. Точно два дурака высрались на вершине пирамиды, — отмечал он 2 марта 1917 г. — Противоречие непримиримое. Палата господ, а точнее “бар” и совсем уже нижняя палата, даже подпольная» (Андреев, 1994: 30). Он сразу разглядел опасность пресловутого двоевластия.

Другие высказывались более осторожно. Так, будущий выдающийся социолог, а в тот момент член эсеровской партии П. А. Сорокин отмечал, что в «великой» революции заметны элементы «лакейского бунта» (Сорокин, 2016: 44–45). Со временем заговорили и о новой пугачевщине. Поэт Г. И. Чулков писал, что большевики, выступавшие под знаменем марксизма, на деле «подобно Бакунину, опираясь на темные непросвещенные массы, стремились ввергнуть страну во все случайности анархии со странную надеждою выплыть в океане бушующего строя “без руля и без ветрил”» (Чулков, 1917: 29).

Начиная с сентября 1917 г. Андреев стал противопоставлять революцию бунту. «То, что сейчас происходит в России... — писал он, — есть смертельная борьба между Революцией, которая слабо обороняется, и Бунтом, который яростно нападает» (Андреев, 2018: 190). А в феврале 1918 г. он так высказался о победе большевиков: «Жестокость страшна, но в ней есть сила и обещание: глупость бездонно мрачна. Конечно, я говорю о “глупости умных”» (Андреев, 1994: 33). Похоже, люди запутались в общепринятых понятиях — действитель-

ность оказалась сложнее. Теперь оставалось надеяться только на силу и обещание, откуда бы они ни исходили, включая большевиков. Симптоматично, что характерные метаморфозы происходили в сознании людей крайне правых ориентаций — как и ленинцы, наименее связанных теориями. «...Учредилку-то разогнали, — слава Богу, — писал в дневнике профессор Б. В. Никольский о большевиках. — Эти люди, по крайней мере, имеют энергию, пропорциональную их идиотизму, и топят и себя, и весь наш подлый бунт, и заодно социализм» (Никольский, 2015: 325). Но и он выдавал желаемое за действительное.

Людские фантазии обычно связаны не только с вожделенным будущим, но и с нелицеприятным прошлым. Уже в эмиграции оставшегося не у дел Милюкова посетило «озарение»: если рационального объяснения событиям 1917 г. не находится, то, значит, ими управляли силы, незаметные людскому глазу. Так получил второе рождение масонский миф, некогда вызванный к жизни событиями Великой французской революции. Есть нечто символичное в том, что именно Милюков — этот выдающийся позитивистский историограф России, некогда неловко спровоцировавший эскалацию охлократического хаоса, — стал сторонником конспирологической трактовки революции.

Стихийность, хаотичность и «анонимность» выдающихся событий истории никак не укладывается в обыденное сознание. И потому смущенные умы бросаются на поиск рационального, по их меркам, объяснения случившегося. При этом неизбежно набирают силу и конспирологические, и квазирелигиозные толкования — от инфернализации бунтарства до прикладной эсхатологии. Вместе с тем со временем возникает феномен «синергетики второго порядка» — вера в силу победившей революции вызывает склонность к эстетизации уже упорядочившегося хаоса.

В 1950 г. Альбер Камю писал: «...Вопреки Шелеру, я настаиваю на страстном созидательном порыве бунта, который отличает его от озлобленности» (Камю, 1999: 9–10). Впрочем, вопреки и этой посылке, он допускал, что мятеж и революция имеют смысл лишь в рамках западной цивилизации, так как дух истинной революции способен восторжествовать только в особых условиях. И если равенство и свобода провозглашены юридически, а на деле господствуют неравенство и несвобода, то социальный протест неизбежен, тем более что свобода имплицитно таится в системе ценностей, в большей или меньшей степени конформистских. А там, где несвобода закреплена сословной иерархией, возможен лишь бунт, а никак не революция.

Но что же случилось в России? Камю считал, что бунтует не только раб, но и человек, потрясенный зрелищем угнетения и, соответственно, отождествивший себя с угнетенным. Бунт в таком понимании — прежде всего, удел диссипативной личности, будь то фрондирующий аристократ, эпатирующий денди

или хулиганствующий босьяк. Камю утверждал, что самые ярые фанатики — это дети и юноши. Возвышенный этос может спровоцировать низменные эмоции. Нечто подобное и произошло в России.

Еще в годы войны Бердяев писал о «чисто женском» российском свойстве подчиняться и поклоняться идолу государственности. Из этого мог родиться своего рода «бабий бунт» против объекта бывшего поклонения (Бердяев, 1990: 47). Действительно, русская революция началась с бабьих бунтов в Феврале и закончилось женоподобным смирением перед нерассуждающей силой большевизма в Октябре. Но подобная гипотеза приходится не ко двору некоторым российским авторам, по советской привычке выводящим физическое (а, следовательно, и духовное) самочувствие народа из официальных данных и задним числом, предписывающим ему «разумное» поведение перед властями предрешающими.

Парадоксально, что периодически даже авторы, далекие от меньшевистских догм, втягивались в споры о марксистских «закономерностях». Со временем последовали гадания: на что ориентировались большевики в действиях пролетариата — на стихийность или сознательность? Предлагалось даже исходить из понятия «классовый инстинкт». Схоластические споры бесконечны, они затягивают как черная дыра. Между тем проще было бы признать, что большевизм — не обычная политическая партия, а своего рода генератор стихийного нетерпения масс. А сознательность понималась Лениным и его сторонниками как готовность безоговорочно следовать за партией пролетариата и его якобы непогрешимым классовым инстинктом. В сущности, Ленин делал ставку на пароксизм веры, порожденный неистовством людей, которым нечего терять.

Современное общественное сознание не хочет верить, что революция произошла в *традиционной* по преимуществу среде, а не в развитом буржуазно-капиталистическом социокультурном пространстве. Увязнув в комфортном настоящем, люди готовы навязать образам прошлого удобные представления: история должна работать на современность. Революционное проседание культуры и стихийно-бессмысленное блуждание по кругу противоречат обызвательно упорядоченным представлениям о «прогрессивном» смысле истории.

В марте 1918 г. Ленин поставил перед своей партией практически неразрешимую задачу. Он вполне сознавал, что «величайшая трудность русской революции, ее величайшая историческая проблема: <...> вызвать международную революцию, проделать этот переход от нашей революции, как узконациональной, к мировой» (Ленин, 1981: XXXVI, 8). Однако в тогдашних российских условиях оставалось только надеяться, что русский бунт охватит весь европейский мир. В историко-онтологическом смысле выбора не было.

Конечно, большевизм был грандиозной утопией. Но она порождена верой в то, что скорейшее преодоление последствий «самоубийства Европы» возможно

только через утверждение новых ценностей. Неудивительно, что у большевиков нашлось немало сторонников на Западе.

Очередной призыв к переосмыслению русской революции прозвучал на Западе в 1980-е гг. в связи с успехами социально-исторических (неполитических) исследований. В России в годы перестройки случилось иное: началась лихорадочная погоня за «утаенными» источниками, прошел парад кандидатов в новые герои истории, призванных заполнить поредевшие шеренги сакральных образов несостоявшегося прогресса. В условиях всеобщей убежденности в тотальной фальсифицированности прошлого люди склонны верить крикунам, доказывающим, что все было с точностью до наоборот. А потому новыми «властителями дум» становились всевозможные псевдодиссиденты и оборотни официальной науки; в первые ряды историков выдвигались авторы, умеющие подать себя на фоне «сенсационных» фактов; родилась целая генерация политологов и социологов, публично трансформирующих общественные разочарования в новые «теории». В той мере, в какой мы имплицитно остаемся в их плену, мы продолжаем верить в политическую революцию, поставившую — случайно или закономерно — у власти партию Ленина.

Произошло не возвращение в собственную историю, а *моральное* осуждение якобы чужого прошлого. Отсюда наивная игра в альтернативы и сетования на то, что посредством революции России навязали худший из возможных путей развития. На смену одному мифу пришла черед «открытий», составивших контуры нового мифа — о «потерянной» России и виновниках предательства национальных интересов. Более того, между двумя ключевыми образами «величия России» — Петром I и Сталиным — вкрадчиво втиснулась бледная фигура последнего российского императора. Параллельно вызревало целое поколение «переводчиков», с детской непосредственностью вгоняющих российские реалии в категориальные рамки западной политической науки. Однако если на Западе возможен ироничный или скептический взгляд на революцию и ее историографов, то в постсоветской России подобное поведение могло поставить автора в положение изгоя даже в академической среде.

К тому же воля к истине была парализована модой на постмодернизм. Любой миф возводится на почве наиболее примитивных предрассудков. Людское сознание страшится всякого хаоса. А между тем материал, которым пользуется историк революции, представляет собой «конгломерат бессвязных и фрагментарных слухов и сообщений, достоверность, полноту и репрезентативность которых надо определять в каждом конкретном случае» (Яров, 1999: 219). Отсюда соблазн упорядочения истории: извечный испуг перед ее непредсказуемостью можно парализовать с помощью очередного мифа.

Действительно, как показала коммеморация революции на Западе, история 1917 г. по-прежнему предстает в виде упорядоченной политической револю-

ции, но никак не кровавой летописи российского бунтарства. И даже Гражданская война в России стала связываться скорее с мировой войной, нежели с традиционным русским бунтом.

В настоящее время в России также обозначилась тенденция к конвенциональному взгляду на революцию. В декабре 2016 г. российское руководство приняло по-своему выдающееся решение: грядущая коммеморация должна пройти под знаком примирения духовных наследников «либералов» и «коммунистов», «белых» и «красных». Это был призыв к общественному диалогу. Однако при этом проблематика бунта и бунтарства стыдливо задвигалась на задний план. Призыв встретил поддержку главным образом в академическом сообществе. Тем временем общество не обрело цельности, что явственно отразила массовая культура. Чтобы прийти к подлинному примирению, эмоциональному и ментальному, следовало бы прежде найти глубинные истоки революции, отыскать несомненные ее причины, понятные всем. Возможно ли это применительно к событию, которое вместо рывка вперед породило откат назад и тем самым раскололо весь мир? Положение усложняется тем, что не столь давно в ходе коммеморации Первой мировой войны «сверху» не раз прозвучали слова о «предательстве», в результате которого Россия оказалась проигравшей стороной (Колоницкий, 2017: 179–181).

Беспристрастность в историческом исследовании необходима. Но возможности ее достижения сомнительны даже в гражданском обществе. Историк — продукт своего времени. Подлинная наука (по крайней мере по понятиям позитивистов) должна быть не просто нравственно нейтральной, но и *аморальной*. Однако применительно к истории это практически невозможно. Всякое подобие толерантности в историографии революции смотрится как *contradictio in adjecto*.

Но принципиальная трудность в осмыслении катастрофично-хаотических событий прошлого связана не с этим. Революционный кризис возник в условиях господства одной мыслительной парадигмы, а оценивать его приходится в иной ментальной ситуации. Обычный человек словно прикован к стереотипам своего времени, а общество требует известной степени конформизма по отношению к господствующим ценностям.

Октябрьской революции (как и Великой французской) предшествовал набор простейших прогрессистских постулатов: человек равен другому, все люди готовы для свободы, для скорейшего восхождения к ней достаточно отсесть все лишнее. Сегодня, напротив, очевидно, что эпоха наивного европоцентризма и универсализма уходит в прошлое: обществоведы все чаще говорят, что история циклична и катастрофична, народы культурно разобщены, а человек изначально несовершенен. А потому современный историк оказывается в состоянии болезненного внутреннего раздвоения: как исследователь он должен быть беспри-

страстен, как гражданин — придерживаться (пусть формально) определенных ценностных установок. Тем самым он рискует оказаться под подозрением — то ли как диссидент, то ли как конъюнктурщик. Так или иначе, историку придется ответить самому себе на простой вопрос: *что* именно он ищет в неподвластном прошлом — огонь непреходящего бунтарства или пепел несбывшихся надежд. Между тем в истории стоит искать только *смыслы*, иначе придется до бесконечности наступать на грабли, коварно притаившиеся в траве забвения.

Литература

- Алданов М. А. (1922). Огонь и дым. Париж: Франко-русская печать.
- Андреев Л. Н. (2018). Во имя революции // Революция продолжается. 1917 год глазами писателей. М.: Common place. С. 190–203.
- Андреев Л. Н. (1994). S.O.S. Дневник (1914–1919); Письма (1917–1919); Статьи и интервью (1919); Воспоминания современников (1918–1919). М.; СПб.: Феникс.
- Бердяев Н. А. (1990). Судьба России. М.: Советский писатель.
- Блок А. А. (2012). Последние дни Императорской власти. М.: Прогресс-Плеяда.
- Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. (2015). Война, породившая революцию. Россия, 1914–1917 гг. М.: Новый хронограф.
- Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. (2017). 1917 год. Элиты и толпы: культурные ландшафты русской революции. М.: Историческая литература.
- Булдаков В. П. (2013). Историк и миф. Перверсии современного исторического воображения // Вопросы философии. № 8. С. 54–65.
- Булдаков В. П. (2010а). Хаос и этнос. Этнические конфликты в России, 1917–1918 гг. Условия возникновения, хроника, комментарий, анализ. М.: Новый хронограф.
- Булдаков В. П. (2002). Революция, насилие и архаизация массового сознания в гражданской войне: провинциальная специфика // Антибольшевистское повстанческое движение / Белая гвардия. Альманах. № 6. М.: Посев. С. 4–11.
- Булдаков В. П. (2001). Российские смуты и кризисы: востребованность социальной и правовой антропологии // Россия и современный мир. № 2(31). С. 31–46.
- Взыскующие града (1997). Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках А. С. Аскольдова, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Е. Н. Трубецкого, В. Ф. Эрна и др. М.: Кошелев.
- Виноградов П. Г. (2010). Избранные труды. М.: РОССПЭН.
- Гобсон Дж. (2010). Империализм. М.: ЛИБРОКОМ.
- Данилов В. П. (1996). Крестьянская революция в России. 1902–1922 гг. // Крестьяне и власть. М., Тамбов: ТГТУ. С. 4–23.
- Камю А. (1999). Бунтующий человек. М.: Терра.
- Колоницкий Б. И. (2017). Ресурсы культурной памяти и политика памяти о Первой мировой войне в России // Cahiers du monde russe. 1917. Historiographie, dynamiques révolutionnaires et mémoires contestées. 58/1-2, Janvier-juin. P. 179–181.

- Ленин В. И.* 1969 Полное собрание сочинений: В 54 т. М.: Издательство политической литературы. Т. XXXI, XXXVI.
- Милюков П. Н.* (2001). Воспоминания. М.: Вагриус.
- Милюков П. Н.* (1921). История второй русской революции. София: Российско-Болгарское книгоиздательство. Т. 1. Вып. 1.
- Никольский Б. В.* (2015). Дневник. 1896–1918. СПб.: Дмитрий Буланин. Т. 2.
- Оболенский В. А.* (2017). Моя жизнь и мои современники. Воспоминания 1869–1920: в 2 т. М.: Кучково поле. Т. 2.
- Раппапорт Х.* (2017). Застигнутые революцией. Живые голоса очевидцев. М.: Издательство «Э».
- Революция продолжается* (2017). 1917 год глазами писателей. М.: Common place.
- Роллан Р.* 1917. Виновники и жертвы войны. М.: Народопрравство.
- Руга В. Э., Кокорев А. О.* (2011). Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период Первой мировой войны. М.; Владимир: АСТ: Астрель; ВКТ.
- Сорокин П. А.* (2016). Неизвестные газетные статьи 1917 г. М.: Перо.
- Трубецкой Е. Н.* (1917). Народно-русская революция // Речь. 5 марта.
- Чулков Г. И.* (1917). Михаил Бакунин и бунтари 1917 года. М.: Тип. т-ва Рябушинских.
- Шелер М.* (1994). Избранные произведения. М.: Гносис.
- Цвейг С.* (2004). Вчерашний мир. Воспоминания европейца. М.: Вагриус.
- Яров С. В.* (2009). Источники для изучения психологии российского общества XX века. СПб.: Нестор-История.
- Яров С. В.* (1999). Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда в 1917–1923 гг. СПб.: Дмитрий Буланин.
- Acton E.* (1990). Rethinking the Russian Revolution. London, NY: Arnold.
- Billington J.* (1997). The West's Stake on Russia's Future // Orbis. Vol. 41. No. 4. P. 469–473.
- Engelstein L.* (2018). Russia in Flames: War, Revolution, Civil War, 1914–1921. NY: Oxford University Press.
- Krylova A.* (2003). Beyond the Spontaneity-Consciousness Paradigm: “Class Instinct” as a Promising Category of Historical Analysis // Slavic Review. Vol. 62. No. 1. P. 1–23.
- Halfin I.* (2003). Between Instinct and Mind: The Bolshevik View of the Proletarian Self // Slavic Review. Vol. 62. No. 1. P. 34–39.
- Mazon A.* (1920). Lexique de la guerre et de la révolution en Russie (1914–1918). Paris: Librairie ancienne. 88 p.
- Zelnik R.* (2003). A Paradigm Lost? Response to Anna Krylova // Slavic Review. Vol. 62. No. 1. P. 24–33.

Источники

- Булдаков В. П.* (2010). Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М.: РОССПЭН.
- Булдаков В. П.* (2015). 1917 год: революция и погром // Политическая концептология. Журнал междисциплинарных исследований. Ростов-на-Дону. № 3. С. 108–150.

References

- Aldanov M. A.* (1922). *Ogon' i dym*. Parizh: Franko-russkaya pechat'.
- Andreev L. N.* (2018). *Vo imya revolyucii // Revolyuciya prodolzhaetsya. 1917 god glazami pisatelej*. M.: Common place. S. 190–203.
- Andreev L. N.* (1994). *S.O.S. Dnevnik (1914–1919); Pis'ma (1917–1919); Stat'i i interv'yu (1919); Vospominaniya sovremennikov (1918–1919)*. M.; SPb.: Feniks.
- Berdyaev N. A.* (1990). *Sud'ba Rossii*. M.: Sovetskij pisatel'.
- Blok A. A.* (2012). *Poslednie dni Imperatorskoj vlasti*. M.: Progress-Pleyada.
- Buldakov V. P., Leont'eva T. G.* (2015). *Vojna, porodivshaya revolyuciyu. Rossiya, 1914–1917 gg.* M.: Novyj hronograf.
- Buldakov V. P.* (2010a). *Haos i ehtnos. Ehtnicheskie konflikty v Rossii, 1917–1918 gg. Usloviya vzniknoveniya, hronika, kommentarij, analiz*. M.: Novyj hronograf.
- Buldakov V. P., Leont'eva T. G.* (2017). *1917 god. Ehlity i tolpy: kul'turnye landshafty russkoj revolyucii*. M.: Istoricheskaya literatura.
- Buldakov V. P.* (2001). *Rossijskie smuty i krizisy: vobrebovannost' social'noj i pravovoj antropologii // Rossiya i sovremennyy mir. № 2(31)*. S. 31–46.
- Buldakov V. P.* (2002). *Revolyuciya, nasilie i arhaizaciya massovogo soznaniya v grazhdanskoj vojne: provincial'naya specifika // Antibol'shevistskoe povstancheskoje dvizhenie / Belaya gvardiya. Al'manah. № 6*. M.: Posev. S. 4–11.
- Buldakov V. P.* (2013). *Istorik i mif. Perversii sovremennogo istoricheskogo voobrazheniya // Voprosy filosofii. № 8*. S. 54–65.
- Vzyskuyushchie grada* (1997). *Hronika chastnoj zhizni russkih religioznyh filosofov v pis'mah i dnevnikah A. S. Askol'dova, N. A. Berdyaeva, S. N. Bulgakova, E. N. Trubeckogo, V. F. Ehrna i dr.* M.: Koshelev.
- Vinogradov P. G.* (2010). *Izbrannye trudy*. M.: ROSSPEHN.
- Gobson Dzh.* (2010). *Imperializm*. M.: LIBROKOM.
- Grekov N.* (2001). «Metodologicheskij krizis» ili skrytaya degradaciya? // *Pro et Contra: Sb. st. Tom 6. № 1–2. Ch. 1*. S. 178–182.
- Danilov V. P.* (1996). *Krest'yanskaya revolyuciya v Rossii. 1902–1922 gg. // Krest'yane i vlast'*. M., Tambov: TGTU. S. 4–23.
- Kamyu A.* (1999). *Buntuyushchij chelovek*. M.: Terra.
- Kolonickij B. I.* (2017). *Resursy kul'turnoj pamyati i politika pamyati o Pervoj mirovoj vojne v Rossii // Cahiers du monde russe. 1917. Historiographie, dynamiques révolutionnaires et mémoires contestées. 58/1-2, Janvier–juin*. P. 179–181.
- Lenin V. I.* (1969) *Polnoe sobranie sochinenij: V 54 t.* M.: Izdatel'stvo politicheskoy literatury. T. 31, 36.
- Milyukov P. N.* (2001). *Vospominaniya*. M.: Vagrius.
- Milyukov P. N.* (1921). *Istoriya vtoroj russkoj revolyucii*. Sofiya: Rossijsko-Bolgarskoe knigoizdatel'stvo. T. 1. Vyp. 1.

- Nikol'skij B. V.* (2015). Dnevnik. 1896–1918. SPb.: Dmitrij Bulanin. T. 2.
- Obolenskij V. A.* (2017). Moya zhizn' i moi sovremenniki. Vospominaniya 1869–1920: v 2 t. M.: Kuchkovo pole. T. 2.
- Rappaport H.* (2017). Zastignutye revolyuciej. ZHivye golosa ochevidcev. M.: Izdatel'stvo «Eh».
- Revolyuciya prodolzhaetsya* (2017). 1917 god glazami pisatelej. M.: Common place.
- Rollan R.* 1917. Vinovniki i zhertvy vojny. M.: Narodopravstvo.
- Ruga V. Eh., Kokorev A. O.* (2011). Povsednevnyaya zhizn' Moskvyy. Ocherki gorodskogo byta v period Pervoj mirovoj vojny. M.; Vladimir: AST: Astrel'; VKT.
- Sorokin P. A.* (2016). Neizvestnye gazetnye stat'i 1917 g. M.: Pero.
- Trubeckoj E. N.* (1917). Narodno-russkaya revolyuciya // Rech'. 5 marta.
- Chulkov G. I.* (1917). Mihail Bakunin i buntari 1917 goda. M.: Tip. t-va Ryabushinskih.
- Sheler M.* (1994). Izbrannyye proizvedeniya. M.: Gnosis.
- Cvejg S.* (2004). Vcherashnij mir. Vospominaniya evropejca. M.: Vagrius.
- Yarov S. V.* (2009). Istochniki dlya izucheniya psihologii rossijskogo obshchestva XX veka. SPb.: Nestor-Istoriya.
- Yarov S. V.* (1999). Proletarij kak politik. Politicheskaya psihologiya rabochih Petrograda v 1917–1923 gg. SPb.: Dmitrij Bulanin.
- Buldakov V. P.* (2010). Krasnaya smuta. Priroda i posledstviya revolyucionnogo nasiliya. M.: ROSSPEHN.
- Buldakov V. P.* (2015). 1917 god: revolyuciya i pogrom // Politicheskaya konceptologiya. Zhurnal mezhdisciplinarnyh issledovanij. Rostov-na-Donu. № 3. S. 108–150.